

...Тургеневу приписывают слова: «Пока остаётся хоть один русский, — до тех пор будут помнить Обломова»... Вот я и есть этот самый один русский. Кто ещё? И где? Там, вдали, за рекой, — не русские...

Ты в школе прочла роман Гончарова, обязательный по программе, я — не смог. Какая проза нужна мальчишке в 12-14 лет? *Одиссея капитана Блада, Граф Монтекрристо, Айвенго, Белый клык, Трудники моря, Собор Парижской богородицы*. Это и было моё чтение, да плюс стихи. Зачем школьнику в середине XX века читать сатиру на дворянско-мещанский Петербург середины XIX века? Общество изменилось до неузнавания (да что там! народ переродился). К тогдашней жизни — эта книга никакого отношения не имела.

Я не продвинулся дальше первой страницы; как прочёл «В Гороховой улице...» вместо «На Гороховой улице...» (по советской норме), так и заскучал. Вдобавок я случайно знал, что Гороховая *на самом деле* — улица Дзержинского, где раньше ЧК помещалось. Я ведь был советский мальчишка.

## 1.

Сейчас передо мною два издания романа: 1973 года, солидное, в серии Библиотеки всемирной литературы, издательство Художественная литература, Москва; и 1963 года, детское, в серии Школьной библиотеки, издательство Детгиз, Ленинград. И в том, и в другом читателю объясняют, кто такой Корнелий Непот; ни в том, ни в другом не объяснено, кто такой подьячий... В четырнадцать лет, с моим жадным интересом к античности, я что-то слышал о Непоте, и уж во всяком случае сразу понял, что это имя делает в тексте романа, а вот что такое подьячий — это мне нужно и сейчас, у двери гроба, в затылке почесать, чтобы вспомнить; между тем в тексте Гончарова это слово нагружено куда большим содержанием, чем имя римского историка: читателю нужно же ведь понять, из чиновничьего сословия вышел герой или из поповского; я тогда понял, что из поповского: что подьячий от дьякона, не от дьяка, потому что и слово дьяк было тёмным. И многие так же ошиблись.

Зачем советских детей-оборванцев, обитателей коммунальных трущоб, пионеров, певших про зарю коммунизма, заставляли вглядываться в жизнь дворян и помещиков? Кто составлял эти школьные программы по литературе? Что творилось в головах составителей? Одно про них ясно: слово подьячий не требовало для них перевода. Для старших прежняя жизнь была ещё рядом.

Читать старые скучные книги нужно медленно, с оглядкой и сопоставлениями, иначе какой в них прок. И вот с удивлением вижу, что Обломов один жил в четырёх комнатах, из которых три не использовались, мебель там была в чехлах, а ещё была комната для слуги Захара, крепостного (что он крепостной, не сказано ни автором, ни в примечаниях: это же очевидно было!)... а мы на Пердеке, на переулке Декабристов, жили впятером в одной комнате, мои родители, бабушка, сестра и я, и считались семьёй благоустроенной: комната была — сорокаметровая.

Понятно, что московское издание несколько культурнее ленинградского: в нём конструкция *две-три* идёт через дефис, а не через тире, как в том, что, конечно, хамство. В наши дни случается видеть и конструкцию типа *что-нибудь* через тире написанной, да ещё с пробелами вокруг тире: люди совсем обумели.

В ленинградском издании в подстрочных примечаниях объясняются слова: ливрея, сибарит, педант; и понятия: произвели (в значении: повысили), статский советник, корона (в зна-

чении дворянства), за отличие, представления (в значении подачи на повышение в должности), формулярный список, гербовые пуговицы — что, по правде сказать, иной раз и не излишество; я вот споткнулся на слове корона... Даны переводы с латыни, с французского... Спасибо. Но тут же добрые люди объясняют советским детям имена: Бах Иоганн Себастьян, Бетховен Людвиг (лишённый частицы фан). Именно так: фамилия, по русско-советскому обыкновению, идёт перед именем собственным — и никому не стыдно.

Читать буду с выписками. Детали так интересны! —

«... на столе редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки [это при слуге и кухарке в доме!]. Если б не эта тарелка, да не прислонённая к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живёт...»

Ага! Значит, единственная жилая комната служила Илье Ильичу не только «спальной, кабинетом и приемной», но и столовой. Очень мило. Прямо как в нашей коммуналке. И что Обломов курит, это само собою разумеется: ведь мужчины курят. А трубка, чтобы её к постели прислонить, должна быть длинной, что Гончаров пояснить забывает; такие трубки, помнится, чубуками назывались. Но вот странность: на ком «на ней» лежит «хозяин»: на трубке, что ли? Из трёх равноправных существительных дополнений женского рода — «трубка» идёт последней. Классик недоглядел. Сейчас ошибки такого рода — когда неясно, к чему отсылает местоимение, — видим всюду; но в XIX веке такое — редкость.

Обломов просыпается непривычно рано: в восемь утра, и до полудня не может встать, умыться и одеться. Умывания и после полудня не происходит. Спит он в шлафроке, который чуть позже оказывается халатом, что всё-таки не одно и то же. Не вставая с постели (вероятно, с дивана; в комнате два дивана), Обломов принимает приходящих друг за другом и сменяющих друг друга пятерых гостей. Каждый из гостей — карикатура на какой-то слой столичного общества: Волков — бонвиван, Судьбинский — чиновник-карьерист, Пенкин — газетный борзописец, Алексеев — существо, лишённое индивидуальности, «безличный намёк на людскую массу», Тарантьев — приживальщик и хам из земляков хозяина. Приятели Обломова — в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти с хвостом (сам Обломов — «человек лет тридцати двух-трёх от роду», то есть в возрасте самого Гончарова при начале романа). Каждому из гостей Обломов первым делом говорит: «Не подходите ко мне, вы с холода!» (с одними он на вы, с другими на ты). Каждый зовёт Обломова на традиционное первомайское гулянье в Екатерингофе: там «весь город»; Обломов отказывается.

Сколько интересного мы узнаём о тогдашней жизни! Волков говорит: «слава Богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности»... и я вспоминаю ненавистную советскую службу... нет-нет, не скажу о ней ни слова. Никому не объяснишь! Кто не вкусил этой благодати, не поймёт, а кто сподобился, тот и сам знает.

Дослужившись до статского советника, чиновник обретал дворянство («корону»). Но это, спасибо ленинградским примечаниям, — только до 1856 года так было (роман свой Гончаров пишет с 1847 года по 1859 год). Потом барьер подняли, потом ещё подняли (и бедняга Афанасий Фет остался ни с чем: он всё гнался за дворянством и всё не мог догнать его... сподобился, только когда стал Шеншиным).

А вот здесь — уже Гончарову спасибо за сведения: его герой Судьбинский между делом сообщает, что по министерствам вышел указ (вероятно, на рубеже 1840-х и 1850-х годов): в конце официального письма вместо «покорнейший слуга» писать «примите уверение»... Лезу в справочники. Оказывается, министерство состояло из департаментов, департамент из отделений, отделения из столов со столоначальниками. Между тем Гончаров продолжает просвещать меня: начальник отделения получает в год до пяти тысяч с наградными — как итальянский тенор в опере... Казённая (то есть бесплатная) квартира у действительного статского советника — двадцать четыре комнаты...

Все мужчины носят бакенбарды. Например, Судьбинский — «гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами». У слуги Захара каждая бакенбарда такова, что из неё «так и ждешь, что вылетят две-три птицы»... Щелкопёр Пенкин одет с умышленной небрежностью... Глагол *ворочаться* идёт у Гончарова в значение *поворачиваться, вертеться; пожалуй* — в значении *пожалуйста, сделаю по-вашему, обещаю*... Всюду пестрит в романе петербургское и очень канцелярское словечко *сегодня*, теперь ставшее нормой, а в ту пору конкурировавшее с московским *нынче* и эту конкурентную борьбу, к ущербу для русского языка, выигравшее... В доме у Обломова «смирно: обокрали всего один раз!» — за восемь лет.

Сибарит Обломов изумляется в душе, слушая рассказы каждого из гостей: что людям неймётся? Не лень им делать то, делать сё. Вертятся, себя не жалеют, жизни не видят! После обеда — и то работают, что уже просто и вообразить нельзя! Разговоры о больших доходах не вызывают у него зависти. Беседа ведётся неторопливая, обстоятельная. Обломов и гости обмениваются репликами, которые мы теперь почли бы обидными, но никто не обижается. Сочинителю Пенкину, который гордится своим обличительным реализмом, метит в писатели, собирается затмить Данте и Шекспира, Обломов прямо говорит, что не станет читать его сочинений, потому что не верит писателям:

«Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью! ... Человека, человека дайте мне! Любите его...»

Узнаёшь? Помню из учебника литературы: не всё плохо в Обломове, он человек умный, добрый, наш русский человек, только ленивый... ну, да уж мы все ведь на этот счёт не без греха; мы ведь не немцы какие-нибудь.

А вместе с тем — эти только что процитированные разумные слова разом выпадают из речи, поведения и обстановки Обломова, обрисованных столь подробно: не вяжутся ни с чем, противоречат всему. До и после, до самого вечера этого дня, до появления Штольца в половине пятого, Обломов — амёба, а не человек, карикатура на человека, на русского человека. Говорю это, потому что мы ведь и других русских авторов читали, об этом времени писавших и других русских нам показавших. Гончаров, между прочим, в 1812 году родился, он ровесник Герцена и двумя годами старше Лермонтова. Рисуя Обломова, Гончаров слишком явно хватил через край. И, конечно, он допустил стилистический и композиционный ляпсус, вкладывая в уста Обломова эти слова о человечности, — получается антропоморфизм какой-то: амёба у него вдруг ни с того ни с сего заговорила по-людски.

Продолжаю медленное чтение с выписками.

Тарантьев мечтает «перейти служить по винным откупам». В ленинградском примечании мне объясняют про государственную монополию на водку и отдачу кабаков частным лицам: про систему откупов. Об этом я слышал, хоть и не вдумывался: дело-то при царе Горохе было... а вот что «В начале XIX века "питейные доходы" составляли четверть государственного бюджета» — этого я не слышал, и, признаться, охнул. Да не врёт ли рабоче-крестьянский комментатор? Четверть!

Изумление у меня вызывают и слова Гончарова о Тарантьеве: «Его никогда не смущал стыд за поношенное платье»... Первым делом я тут тебя вспомнил, дорогая: в каких обносках ходила ты всё своё пионерское детство и свою комсомольскую юность. Не стыдно было? А затем — и себя вспомнил, я не из богатых, хоть и не в такой нищете жил, как ты: покупка пары обуви была событием, отцовскую куртку на искусственном меху, полученную им ещё в войну, по лендлизу, я носил с пятнадцати до тридцати пяти лет. И по сей день — притом без тени стыда — надеваю куртки и рубашки тридцатилетней давности, а последний костюм новый был мне куплен двадцать лет назад, когда я у адвоката служил. О времена, о нравы! Как мы знаем, роман свой Гончаров задумывает и начинает в 1840-е годы. Про них Блок сказал: «сороковые роковые». Почему они для него роковые, не знаю и не спрашиваю, ничего рокового не вижу... Разве что одно: не про них ли Толстой говорит в конце жизни: «Раньше было стыдно выезжать иначе как шестёркой цугом, а теперь — стыдно, что горничная за тобою ночной горшок выносит»? Цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь. Если в том дело, что совесть у дворян проснулась, — это много, но всё-таки рокота не слышно.

Сведения Гончарова упоительны. На Выборгскую сторону, случается, волки забегают — но откуда? думаешь, с Карельского перешейка? Нет, с островов!

В смиренные дома отдают на укрощение строптивых слуг, крепостных и *свободных* (эти дома, спасибо ленинградскому примечанию, существовали до 1884 года).

Обращение на ты и по имени-отчеству — норма, а не партийное панибратство, бытовавшее в Совдепии. Тут к слову напомнить нечто вовсе забытое. В советское время стало правилом обращаться по имени-отчеству (на вы) к людям известным, но незнакомым, например, к писателям. Современников Гончарова такое оскорбило бы. Они сочли бы это невежливостью, фамильярностью. Вежливое обращение было — по должности и фамилии: господин столоначальник, господин поручик, господин коллежский асессор, да и то в быту, за обедом, в компании; а в учреждении — полагалось прибавлять ещё и титулование: ваше благородие господин капитан, ваше высокоблагородие господин полковник, ваше высокоблагородие господин статский советник... ваше превосходительство, ваше сиятельство, ваше преосвященство... Имя-отчество резервировалось только для самых близких, для семьи и друзей... В Совдепии, разумеется, все стали «товарищи», и фамильярность сделалась нормой.

За квартиру Обломов платит ежемесячно полторы тысячи в год, из тех шести или восьми, что получает от своей деревни в 350 душ. Деревня находится «в одной из отдаленных губер-

ний, чуть не в Азии» — вероятно, на левом берегу Волги, на юго-восток от Саратова. Зона степная: «ни тигров ревущих, ни даже медведей и волков, потому что нет лесов»... но потом вдруг выясняется, что лес всё-таки есть: «солнце уже подвинулось к лесу». Опять классик недосмотрел.

Это, кстати, из девятой главы, которая, в отличие от других, заглавие имеет: «Сон Обломова». Помню, нам сочинения приказывали писать на эту тему. Сон этот — целая вставная повесть о детстве Обломова, слишком подробная для сна — в этом, как хочешь, вижу ещё один стилистический промах Гончарова; разбил бы на кусочки, на три-четыре сна, вышло бы куда убедительнее. Сон длится полных пятьдесят страниц по ленинградскому изданию (сорок по московскому, где текст плотнее).

За сном следует эпизод у ворот дома в Гороховой улице: Захар, сбежавший от уснувшего барина, разглагольствует перед челядью других питерских бар. Он тут Захар Тимофеевич, ему ведь за пятьдесят. Сперва он поносит своего барина на чём свет стоит, и без всякой причины, ради красного словца, а когда разговор повернулся в невыгодную для Захара сторону, когда вдруг почтительность к нему сменяется насмешками, — начинает поносить чужого барина, того, чей слуга ему дерзость сказал:

«— А вы-то с барином голь проклятая, жида, хуже немца! — говорил он. — Де-душка-то, я знаю, кто у вас был: приказчик с толкучего. Вчера гости-то вышли от вас вечером, так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом: жалость смотреть! Мать тоже на толкучем торговала крадеными да изношенными платьями.»

При этом Обломова Захар до небес превозносит, совершенно так же, как давеча ругал.

Заметь, дорогая, эту конструкцию: «говорил он»; так всюду у Гончарова: при передаче разговора идёт глагол несовершенного вида: *говорил*, не *сказал*. Авторская особенность такая. Заметь и то, что жида — хуже немца: беднее; или, может, прижмистее?

С деньгами вообще любопытно: ленинградские примечания сообщают, что к 1840-м годам рубль ассигнациями стоил 27.5 копеек серебром. Десятка ассигнацией у Гончарова — «красненькая», не червонец. Порывшись в сети, вижу: что червонцем десятка стала в Советской в нэповское время, после реформы 1924 года; червонец при Гончарове — трёхрублевая золотая монета.

Гончаров, вот интересно, различает гривну и гривенник: Захар «потребности свои измерял гривнами и гривенниками». Что это может означать? Ведь нет, да, кажется, никогда и не было у каждого из этих слов иного значения, как десять копеек? Единственный выход вот какой: это монеты разной чеканки и (или) металла, с разными надписями на них. Что-то вроде этого можно у Даля почерпнуть в статье на *гривну*: «монета в десять копеек; гривенник серебряная, а гривенный медная». Статьи на *гривенник* у Даля нет...

Теперь спросим: как советский школьник мог прочесть эту фразу Гончарова? Единственным образом: пропустить, не заметить, не вдумываться. В моей семье в XX веке даже и слова *гривенник* в ходу не было, а уж *гривна* и повсюду вымерла... Так мы, сорванцы и оборванцы, читали эту «золотую классику русской литературы» — если читали вообще. Добрые советские учителя! Ведь и они не знали, в чём тут дело.

Кажется, я опять в словарь классика вглядываюсь. Слово *вдруг* всюду идёт в значении: *вместе, разом*, — как и у других авторов той поры, скажем, у Белинского; и — как в занят-

ной пословице, дошедшей до наших дней: «Старцу не круг, что две деревни вдруг». Диван у Обломова обит барканом, и это не еврейская фамилия, а «старинная плотная тяжелая шерстяная ткань, употреблявшаяся для обивки мебели» (примечания нет, нахожу об этом в сети). *Латынская* идёт вместо *латинская*, *вершать* вместо *вершить*, *подгорюнившись* вместо *пригорюнившись*. *Гомозиться* идёт в значении *копошиться* (но возможно и значение: накапливать). Слово *ферула* — и вообще для меня новое, латынь-то моя сама знаешь какая... это — палка для битья учеников, учительская линейка. *По доверенности* означает не по бумаге от нотариуса, а *доверительно*. У садовника среди инструментов обнаруживается *пешня*, про которую я разведаль (примечания нет), что это лом для вырезания льда: чтоб прорубь сделать... но не вижу в Обломовке ни озера, ни пруда, ни реки: выходит, у Гончарова тут другой смысл: какой?... *Транспарант* — не лозунг, не плакат «вся власть Учредительному собранию» от дома к дому через революционную улицу, а комнатный матерчатый экран, приглушающий яркий свет от свечи. *Однакож* — всюду одно слово; почему бы и нет? Энклитика, так сказать.

Речевые конструкции часто странны для нашего уха: «различить от» вместо теперешнего «отличить от»; «преданность к»; «пансионерка на возрасте» — «пенсионерка в возрасте». Вопрос не задают, а «делают». «Мимо их» — сравним с теперешним обязательным «мимо них». «Представали пред каждого из них» — вместо «перед каждым из них». Ехать «на долгих» означало: на своих лошадях, не на почтовых. В иных местах и охнешь: как это, с позволения спросить, «привстав, подошёл к Захару»? Всё-таки нужно ведь вполне встать, чтобы подойти? Или на полусогнутых подошёл?

Есть и странности, которые не спишешь на работу времени: например, два *но* в одном предложении... да-да, я опять с мелкими придирками, опять за деревьями леса не вижу, но ведь тут есть о чём задуматься, разве нет? Про Толстого мы слышали, что он намеренно устраивал по два, а то и по три *который* в одном предложении — ради придания языку обыденной естественности, но это вряд ли случай Гончарова. Удивление вызывает и то, что из глаз могут «литься лучи света, надежды, силы»... это у человека, не у робота.

При учёбе, которая Обломову ни к чему, «на тетрадки изведёшь пропасть бумаги» — выходит, что тетради не были сшиты заранее? может, тетрадкой назывался лист, сложенный пополам, дающий четыре страницы? Ведь слово-то именно от этой простой конструкции возникло.

Слово *семик* в ленинградском примечании объясняется как седьмое воскресение после Пасхи. В московском издании оно вообще не объяснено. Теперешние православные в сети дают другое значение: седьмой четверг после Пасхи.

Не стану скрывать: многих слов и понятий я не знал. Например, *дёнце* — это старинная прялка (примечание есть), отсыпной хлеб — зерно от барина привилегированным крепостным, живущим своим домом, заря — ещё и трава такая лечебная, она же любистик (примечания нет). Не стыжусь сознаться: я жизнь прожил в мысли, что *там-там* — нечто африканское, танец или барабан, а тут выясняется, что это индийский гонг... Учиться никогда не поздно! Умнею на глазах.

Иные примечания особенно поучительны: в ленинградском издании сообщается, что предводитель дворянства избирался «дворянским собранием — органом дворянской диктатуры в XVIII — начале XX века». Ты слышишь? диктатуры! Даром что дворянина выпороть могли в третьем отделении. А к фразе «гадают на червонного короля да на

трефовую даму, предсказывая марьяж» советским детям дают пояснение: «Марьяж — в картах встреча короля и дамы»... кажется, Гончаров другое хотел сказать: что гадают на встречу в жизни, на на женитьбу? Вот пропасть между ними и нами: там все знали, что марьяж — женитьба, а у нас никто этого не знал. Мы — ближе к тамошним крепостным, чем к тамошним Обломовым.

В Обломовке пьют «чашек по двенадцати чаю»! Я всегда думал, что рекорд поставлен у Чехова: «чай пили по-московски, стаканов по семи»... или по восьми? Но чтоб по двенадцати!

Встав в первом часу дня Обломов, не умывается, как уже отмечено, — важнее другое:

Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки, на помадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой.

После этого, проводив знакомых и позавтракав, Обломов, причёсанный и на помаженный, опять спать ложится. Завтракает он с мадерой, и как раз после этого, улёгшись, засыпает и видит «Сон Обломова» (а Захар отправляется к воротам болтать с приятелями). Почему барину не поспать перед обедом («если у него не много дел», как в песне поётся)? Обедают у него обычно в пять часов дня... но в этот исторический день вышло иначе.

Будит Обломова в половине пятого Штольц, друг детства («Обломов любил искренне одного Андрея Ивановича Штольца»), — единственный, кому Обломов готов подчиниться против своей анекдотической лени, — и он не только будит Обломова, но и уводит из дома перед самым обедом (обед же велит слугам съесть самим, и Обломов не возражает... своим распоряжением, сколько я вижу, Штольц отставляет без обеда только нахлебника Тараньтева, обещавшего вернуться к пяти, но об этом Гончаров молчит).

Я хоть и не читал Гончарова в детстве, а хорошо помню по школе: Штольц — антипод Обломова, он деятелен и предприимчив, — то есть немец в этом смысле противопоставлен русскому... а что Штольц, собственно говоря, русский, ведь мать-то у него русская, притом из дворян (уж не говорю, что по воспитанию он русский), этого я в детстве не услышал... И того, что stoltz по-немецки означает гордый, не услышал, хоть и мог бы, мой отец пытался меня учить немецкому. Штольца в романе все считают немцем. Дело это очень русское: отправная точка — фамилия, звучащая не по-нашенски; ведь вот и фон Визену пришлось стать Фонвизиним, и Герцену любомудр Иван Киреевский настойчиво советовал стать Герцыным. Занятнее, что и Обломов о материнской крови в Штольце не вспоминает — и что и для Гончарова тоже Штольц немец.

Тут начинается вторая часть романа... сто шестьдесят страниц первой части проехало, а действия ещё никакого, одни разговоры да очерки нравов... И опять идёт пространная описательная часть: о происхождении, детстве и юности Шотльца, — композиционный ход не из остроумных.

### 3.

Есть у меня одна догадка. Подтверждения ей не нахожу, но и опровержения не вижу. Гончаров пишет: «...не вышло из Андрея [Штольца] ни доброго бурша, ни даже филистера». Филистер, как мы знаем, — обыватель, неуч, мещанин. Получается странность: из кого же это «даже обывателя» не выйдет? Что тут на самом деле говорит нам Гончаров? Какой смысл вкладывает он в слово филистер?

О значении слова филистер много написано. Есть целое исследование, притом немецкое; слово-то немецкое. Дословно филистер — библейский филистимлянин; первый переносный смысл его: чужой, не посвящённый. Дальше идут вариации и флуктуации смысла и оттенков смысла в функции от места и времени. В первой публикации второй главы *Онегина* Пушкин представляет нового героя словами: «Ленский, / Душой — филистер Геттингенской...». Тадеуш (Фаддей) Булгарин, предмет постоянных издёвок Пушкина и его круга, в своей рецензии деликатно (в подстрочном примечании) поправляет Пушкина:

«В его портрете находится маленькая ошибка. Он представлен немецким студентом, которые называются *буршами* и *швермерами*, а не *филистерами*, как назвал его поэт. Филистером называется, напротив того, спокойный гражданин, не принадлежащий к сословию студентов.»

Рецензия Булгарина, первый отклик на эту публикацию Пушкина, вообще положительная и едва ли не восторженная. Сейчас её можно найти в сети, а в годы нашего детства, когда сети и вообразить себе никто не мог, нам слов Булгарина не приводили, зато поносили этого автора на все лады. Даже того не сообщали, что он считался очень одарённым писателем, чего в наши дни и отрицать нельзя (иные его уже и великим называют, да-да).

Булгарин служил в кавалерии, был ранен в живот под Фридландом (русский орден св. Анны); после Тильзитского мира, оставаясь подданным России, воевал с разрешения царя в коннице Наполеона (дослужился до капитана, получил орден Почётного легиона). Всё это целая жизнь, и какая! А он ещё и за перо не брался. Перед нами незаурядный человек, недаром ведь с ним дружил не кто-нибудь, а Грибоедов. Да по мне уж и того довольно, как Булгарин отклонил вызов Дельвига: «Передайте барону, что я видел больше крови, чем он — чернил» (и, конечно, самые злые языки не решились тут обвинить наполеоновского кавалериста в трусости). Не хочется проверять, но и про его будто бы доносительство (печатное!), скорее всего, врут в народническом духе. При Сталине, не при Пушкине, отрицательная рецензия становилась доносом и вела к расстрелу. Зато никто никогда не отмечал очевидного: что аристократическая неприязнь к Булгарину писателей круга Пушкина имела, скорее всего, ещё и такую второстепенную причину как зависть к его литературной популярности: ведь его книги, что о них ни скажи, шли нарасхват, его тиражи в десять раз превосходили тиражи Пушкина...

Вторая глава *Онегина* вышла из печати около 26 октября 1826 года, но Пушкин и раньше употреблял слово филистер в том же — вероятно, ему самому не вполне ясном — смысле: в письме к А. Н. Вульфу от 7 мая 1826 года: «Вы мне обещали писать из Дерпта и не пишете. Добро. Однако я жду вас, любезный филистер, и надеюсь обнять в начале следующего месяца...»

Рецензия Булгарина появилась 4 ноября 1826 года. Вокруг печатной ошибки Пушкина возникла переписка. Языков пишет своему брату 10 ноября 1826 года из Дерпта: «Заметил ли ты в 32 № Север. Пчелы замечание Булгарина об ошибке Пушкина в смысле слова филистер?» Ему вторит А. И. Тургенев в письме к Вяземскому из Дрездена 25 декабря 1826 года: «Для чего Пушкин не поправил стиха в "Онегине" и не выкинул *филистера*? Я через многих давно уже велел сказать ему, что филистер совсем не то значит, что он думает» (слово «давно» подводит к мысли, что Тургенев знал вторую главу в рукописи). Пушкин, однако ж, и во



втором издании, 1830 года, оставляет ошибку не исправленной; то есть настаивает на своём, не верит критикам.

Моя догадка вот в чём: Гончаров берёт значение слова *филистер* из первого издания второй главы *Онегина*, прочитанного им в возрасте 14-и лет, где он услышал примерно следующее: что филистер — любознательный молодой человек, слушатель лекций, уступающий в прилежности ординарному студенту (отсюда у Гончарова «даже»), но ни на секунду не заподозрил, что филистер может быть понят как самодовольный мещанин-обыватель. Он видит что-то вроде вольнослушателя: не педантичного немецкого бурша, готовящегося к поприщу и труду, а богатого аристократа, захавшего в университет для пополнения своей светской эрудиции. Как раз русские дворяне-помещики, служить не собиравшиеся (разве что в гвардии), во множестве ездили в Геттинген, Ляйпциг и Иену ради общей культуры, а там не вполне смешивались с настоящими студентами и в корпорации их не входили.

Занятно, что Словарь языка Пушкина, отмечая ошибку классика в *частном* письме к Вульфу, ни слова не говорит об ошибке в *двух печатных изданиях*: не упоминает о филистере геттингенском, уже не говорю: о переписке современников, заметивших ошибку! Мало того: вся эта учёная хунта профессоров и академиков даже попытки не делает определить, что именно Пушкин понимал под словом филистер — и как раз потому не делает, что текст предназначен теперешним филистерам: непосвящённым, — нам с тобою. Это их давняя установка: придерживать знания для себя, для своего круга, для избранных, а «народу» показывать лубок, если не кукиш. Десятилетиями нас оберегали от сведений о детском проступке Боратынского, из-за которого поэт угодил в солдаты. Издавна и по сей день в примечаниях к угодившим в классики поэтам и прозаикам полно фиговых листков и умолчаний. Лучший пример: «две точки с запятой» в четверостишии Пушкина *Сравнение*:

Не хочешь ли узнать, моя драгая,  
Какая разница меж Буало и мной?  
У Депрео была лишь , // читать: была лишь запятая,  
А у меня: с , //читать: две точки с запятой.

Добрые дяди и тётки от литературоведенья называют эту скабрёзность классика шуткой, а её смысл придерживают: «Стихотворная шутка, основанная на *известном* [sic!] физическом недостатке Буало» (издание Академии наук 1949 года). Хорош учёный, говорящий: знаю — да не скажу! Перед нами какая-то каста браминов или секта пифагорейцев. Им чужих не надо, они благодать для себя приберегают, для своего сословного распределителя.

#### 4.

Ты, конечно, знаешь, кто такой Еруслан Лазаревич? Не знаешь? Но ведь ты же в школе прочла роман Гончарова да и на филологическом училась... Впрочем, узнать тебе было неоткуда: объяснений нет ни в ленинградском, ни в московском издании Гончарова, мною упомянутых, из чего позволительно заключить, что и в более ранних не было. Нужно ли говорить, что и я об этом герое не слыхал? Учителя наши и учебники помалкивали о нём: ни полусловечка. Между тем это — не подумай дурного — русский богатырь, притом самый ранний из русских богатырей, первый по счёту. Из Еруслана потом вырос Илья Муромец, ещё потом — пушкинский Руслан, а сам Еруслан вырос из Рустама, главного героя поэмы

*Шахнаме*, сочинённой в десятом веке Хакимом Фирдоуси в Хорасане (русский богатырь потому Лазаревич, что отца у Рустама звали Заль-Зар).

В Киев литературный Еруслан попал не прямо из Персии, а через половцев (они же кипчаки, они же куманы), которые контролировали громадную евразийскую территорию от Иртыша до Дуная и много досаждали Киевской Руси. Они, эти степняки, представлены в русской традиции почище «неразумных хазар»: кочевники, дикари и язычники, обычно побеждаемые православными князьями. На самом же деле и счёт побед был в пользу половцев, и, что ещё важнее, в культурном отношении половцы не уступали русским — ибо были не только кочевники, а имели города, а в них — учёных. Слово *книга*, в числе других тюркских слов, попало в Киев не иначе как от них... Да-да, Игорь Святославич из *Слова о полку Игореве* был, конечно, побит и пленён половцами. Это преинтересная тема, да она тут не к месту. Скажу только, что этого Игоря, в жизни прославившегося неслыханной жестокостью по отношению к русским, оперным патриотом делает не только опера, а ещё и квасное начётничество так называемых исследователей...

Нет, я о другом: о Еруслане, который при рождении был Рустамом, а у половцев стал Арсланом, то есть львом. Тут — загадка: мы ведь с тобою много читали, но я тоже нигде никогда не слышал имени Еруслана... ведь Гончарова-то я не смог в детстве прочесть, вот и не набрёл на это имя, а набрёл бы — всё равно бы ни от кого объяснений не получил. Молчат литературоведы, молчат могилы, мумии и кости. Почему? Разве в культурном заимствовании у более древнего народа есть какая-то беда? Любое постижение начинается подражанием, заимствованием. Не случайно у Аристотеля слово *подражать* [μιμητικήν] всегда идёт в значении изображать и даже творить. Вот известное место из *Поэтики* (которое мне кажется классической ошибкой переводчика):

«состав [σύνθεσις] лучшей трагедии [καλλίστης τραγωδίας] должен быть не простым, а сплетённым, и она должна подражать страшному и жалкому...» На самом деле Аристотель говорит другое: «трагедия должна изображать потрясение души человеческой, притом так, чтобы у зрителей это потрясение вызывало сострадание». (Жалкое и вызывающее жалость по-гречески передаётся одним словом.)

И вот я спрашиваю: не Пушкина ли оберегают литературоведы от нас, обывателей? Если не упоминать Еруслана Лазаревича, то само собою выходит, что пушкинский Руслан целиком изобретён Пушкиным: и герой, и его имя созданы поэтом, причем имя получается очень патриотическое, корень-то его наш, русский. Если моя догадка верна, то учёные тёти и дяди зря о нас заботились. Иным из нас дела нет до Пушкина, а те, кому Пушкин интересен, давно знают, что у великого русского поэта нет ничего своего по части выдумки или изобретательства, всё заимствованное, — но это ни на тютельную не умаляет его гениальности. Изобретательству, новым и оригинальным мыслям место в лаборатории, — в поэзии им делать нечего.

## 5.

Среди самой возмутительной неграмотности нового времени я числю заключение в запятые слов будто бы вводных, которые на самом деле вводными не являются. Типичный

пример находим в ленинградском издании *Обломова* 1963 года: «как корова носит свои рога, не умея, кстати, их спрятать». Нужно совсем быть глухим к родному языку, чтобы эти две запятые поставить, а ведь корректоры (Л. К. Малявко и К. Д. Немковская) вознаграждение за свой труд получали! Вот уж тут чистый случай филистерства!

Кусок, откуда взята эта советчина, очень русский. Мать Андюши Штольца

«...боялась, что сын ее сделается таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела как на толпу патентованных мещан, не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса предьявляет везде свои тысячелетием выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога не умея кстати их спрятать...»

Дивно! Будто и нет среди немцев дворян, не бывало рыцарства, баронов и графов, Брауншвейгов, Гогенцоллернов и Габсбургов! (Рыцарь, ты помнишь, слово польское, но при этом немецкое: от немецкого Ritter). Однако ж эта характеристика немцев — не автора мнение, а только типичной русской мещанки из дворян. Отца Андрюши, Ивана Богдановича Штольца, Гончаров рисует не без снисходительной симпатии, не передразнивает его произношения. Этот немец у Гончарова чисто говорит по-русски, и только один раз слово не может подыскать, да такое с кем не случается! Мать же

«...проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу курящих коротенькие трубки и поплёвывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых, как палка офицеров с солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу, на труженическое добывание денег, на пошлый порядок... А в сыне ей мерещился идеал барина... Утешься, добрая мать: твой сын вырос на русской почве... Вблизи была Обломовка: там вечный праздник, там сбывают с плеч работу, как иго...»

Чрезвычайно забавно, что у этой «доброй матери» и дворянки нет имени: оно Гончарову не потребовалось. При этом одно имя в связи с нею повторено трижды: имя композитора Герца, чьи вариации она наигрывает, роняя на клавиши слёзы (из-за беспутного сына). Был, оказывается, такой знаменитый в ту пору маэстро, француз из Австрии еврейского происхождения. Естественно, о его еврействе комментаторы не упоминают, и их не упрекнёшь: они не знали, и Гончаров не знал, и никто не знал, — Henri Herz (1803-1888) скрывал, что он еврей... но не скрывал, что свою манеру заимствовал у Игнаца Мошелеса, другого еврейского виртуоза, открыто исповедовавшего иудаизм и, между прочим, дававшего уроки пятнадцатилетнему Феликсу Мендельстону. Сейчас, спасибо интернету, всё это легко найти и комментаторов дополнить... В примечании к московскому изданию *Обломова* имеется странность: Анри Герц назван младшим братом Ж. С. Герца — без пояснения, кто был сей, а этот брат знаменитостью не был, и тут невольно спрашиваешь себя, не путают ли его советские комментаторы с физиком Герцем.

Безымянная «добрая мать» умирает незамеченной: когда Андрей Штолец уезжает из родительского дома и навсегда прощается с отцом, вдруг оказывается, что матери давно нет на свете...

Язык Гончарова продолжает меня изумлять. Двери у него не распахиваются, а размахиваются, *полсутки* (такого слова теперь вроде бы нет) идёт вместо *полусуток* и не

склоняется, синяк обозначается конструкцией *синее пятно*. Это всё не огрехи, нет-нет, — меня только метаморфозы языка занимают. Я как раз думаю, что нельзя канонизировать язык циркулярами. В известных пределах писатель волен отступать от большинства.

Штольц мальчишкой пропадает по неделе — уходит из дому, и отец не беспокоится на бюргера дают примечание, на джентльмена — не дают (в ленинградском)

Еруслан Лазаревич — нет примечания ни даже в БВЛ! стр 73  
«хлынут, например, народы из Африки в Европу»  
становится на колени и молится

Нудное описание нрава и привычек Захара, этому описанию не веришь.

Степанида Агаповна на той же странице превращается в Степаниду Ивановну, Настасья Ивановна — в Настасью Петровну; потом новое превращение: в Настасью Ивановну и Степаниду Тихоновну

Милитриса Кирбитьевна из Бовы-королевича — капризная, злая и коварная королева. Примечаний нет ни там, ни там.

сказка о Емеле-дураке — «злая и коварная сатира на наших предков, а может быть, ещё и на нас самих» (по щучьему веленью)

Илья Муромец... Полкан-богатырь Pulicane, кентавр из Бовы; Колечище прохожее

светопреставление — нет примечания

«Дадут четыреста рублей и не на охотника»